Лина Лиру

До того, как стемнело

3 лучшие истории



Лина Лиру

3 истории из "До того, как стемнело"

https://litres.ru/74955692
SelfPub; 2026

Аннотация

Если вам близки фолк-хоррор, медленная тревога и истории, о настоящей темноте, — эта часть сборника собрана для вас. Здесь три истории: славянская хроника в письмах у чёрного омута; скандинавская легенда о существе, которое поверило, что любовь сделает его человеком; японская сказка о городе, где дождь стихает лишь на один удар сердца. Все они — о древней магии, чужих голосах и тонкой границе между человеком и чудовищем.

Содержание

Дисклеймер 4
Первая История 5
Сказанье 7
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Лина Лиру
3 истории из "До того, как стемнело"

Дисклеймер

Это художественное произведение. Все персонажи, события и места вымышлены; совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Автор использует мотивы славянской, скандинавской и японской мифологии в свободной художественной интерпретации — текст не претендует на культурологическую или религиозную достоверность. Содержит элементы мистики и психологического напряжения. 16+

Первая История



Сказанье

Сказывают девы, да и мужики,
Что в подводном месте у сырой воды,
Где-то на деревах, где-то там в кустах,
Притаилась нечисть — слёз не видать… Страх!

А деревня та, что Валькой всё зовут,
Люди письма пишут, да потом не ждут.
Письма те давно уж под корнями,
С той деревней канули в печали.

Лина Лиру

Место это основали тридцать, а то и пятьдесят лет назад. То есть никто не помнит точно. Бумаги потерялись, старики умерли, а те, кто мог бы рассказать, — молчат. Или уже в воде.

С тех пор здесь ходят легенды. Хотя что легенды? Выдумки, ничем не подтверждённые, верно? Бумага пожелтела,

края истлели. Говорят, в то время люди работали, молились, боялись реки. А потом всё изменилось. Или не изменилось?

Было одно правило, которое никто не записывал, но все знали:

«В полнолуние к воде не подходят. Кто подошёл — тот уже не свой».

Правило забыли. Потом вспомнили снова. Но многие успели подойти.

Первые дома ставили не где удобно, а где сухо. Подальше от корней, которые тянутся к воде. Возвращались ли те, кто уходил за дровами в ту сторону? Не все. И никто не ходил проверять.

Говорят, у реки есть дно, но нет конца. Говорят, если долго смотреть в чёрную воду, вода начинает смотреть в тебя. Говорят, иногда по ночам деревня слышит, как кто-то поёт. Не жалостливо. Не весело. Так, как будто вспоминает тех, кого уже нет.

Может, это просто ветер. Может, просто вода шумит. Может, просто совпадение. Ведь совпадения — это всего лишь совпадения. Верно?

Год 15??. Деревня Вальделю.

Письмо на обрывке бересты, края обгорели. Почерк старательный, но корявый, буквы прыгают, ошибка на ошибке.

«Володя, здорово!

Ну вот, дабрался я до тётки Агафьи. Дарога дальняя, устал сильна. Снача на телеге ехал с папутчиками — му-

жик один кожи вёс в горат, падсадил. А потом пешком вёрст три, ни мене. Лес кругом — стеной стоит, тёмна в ём даж днём. Тропки одне звериные, челавечьей ноги давно не видать. Мужик попалси, дарвосек местный, вывёл. Он меня молчком да аколицы правел, рукой махнул и ушол. Слова не сказал.

Деревня наша, Валькой ея кличут, а па-настояшшему Вальделю, да никто так не гаварит. Стоит на берегу реки. Вода в ей чорная, тихая, не шелохнёцца, даже когда ветер. Берега ниские, глинистые, местами камень серый из вады тарчит. Местные к реке ходят — без етова нильзя, вада нужна, а так — стараняцца. Я сперва не понял, а потом тётка Агафья сказала: место там гиблое, гаварит. Я не поверил, а она на меня пасматрела и замолчала. А я переспросил — она рукой махнула: «Ешь, гаварит, астынет».

Народ здесь нелюдимый, правду гаварят. Встретиш на улице — галову опустят и прайдут, нихто не паздоровацца, никто не спросит, кто ты да аткуда. Тётка гаварит, раньше веселее было, песни пели, харавады водили па праздникам. А теперь всё тише, всё тише. Я спросил, с чево так. Она долга молчала, потом гаварит: «Люди уходят, Митя. Кто в горад, а кто и так прападает». И апять замолчала.

Мужики здесь зимой на промысел ходят, в лес, на саболя. Весной и летам в агародах капаюцца да рыбачат. Только рыбачат не все. Кто сетей бошцца, кто на лодке не выплывает. Я сперва не понял, а потом сасед, дядя Прохор,

сказал: «Наша река не любит, када ея тревожат». Я хател спросить, чо значит «не любит», а он уже ушол.

Вечерами здесь рана спать лажутца, свечи попусту не жгут, лучину тож ни каждый зажжёт. Я у тётки на палатях сплю, сверху, тепла. Слышу, как она па начам вздыхает да молицца. Шепчет, шепчет, а слоф не разобрать. Чево — не гаварит. Я как-то спросил, ково это она молит. А она: «Всех, Митя. Всех, кто может услышать».

Церковь у нас есть, старая, давно не биленая. Стоит на пригорке, крест пакасился, крыша кое-где прасела. Говорят, батюшка приезжай, раз в месяц службу правит. Местные собираюцца, молюцца усердна, а потом быстра по дамам расходяцца, ни задерживаюцца.

Я тут па хозяйству помагаю. Драва колю — лес рядом, беру сколька надо, но далико не захожу. Тётка наказывала: «Дальше старой сосны не ходи, Митя». А старая сосна на пригорке, её атавсюду видна. Воду нашу из калодца, из реки не берём — там вада, гаварят, тяжолая. В агароди капаюсь, грядки полю, репу сажаем. Тётка Агафья меня не гонит, кормит харашо. Вчера пираг с рыбой пекла, пастряпала слафна.

Рыбу я сам лавил. Пашол к реке, удачку закинул. Сижу, жду. Места тихое, кусты, камень балшой, мхом порос. И вдруг вижу — на том камне девка сидит. Красивая. Я её мелком увидал и больше не глядел, не да таво было. Рыба клевала плоха.

Дамой вернулся, тётке нечево не сказал. Пабаялся. А она вечером вдруг гаварит: «Ты к реке па начам не ходи, сынок». Я спросил пачему, а она молчит, только крестицца и на печку смотрит.

Володя, ты не смейся. Может, и паказалось мне. Темна уж было, глаза устали. А может, и взаправду какая девка из здешних. Только гаварят, девки здесь дикие, к чюжим не ходят, да и где им взяцца — адна маладёж в горат падалася.

Как ты там? Как наши? Скучаю я по гораду, па нашым пасиделкам. Здесь всё иначе. Тиха. Иногда даже страшна ат етай тишыны. Слышна, как трава растёт, как рыба в реке плеснёт. А па начам тётка молицца, и я слушаю и ни сплю.

Ты пишы, как получиш. Расскажи, чо у вас новава. Как отец, как мать? Иван всё ешшо в лавке таргует? Перидавай всем привет.

Митрошка.»

Кто был тот парень? Митрошкой звали, обычный крестьянин, таких тысячи. Родился в бедной семье, с детства привык работать. В городе его знали как доброго малого — подсобит, поднесёт, слово ласковое найдет. В деревню приехал к тётке помогать, потому что свои уже не прокармливали.

Работал, улыбался. Люди запомнили его улыбку — открытую, детскую, какую редко встретишь в этих краях. Никогда

никому не отказывал: и дрова поколет, и крышу починит, и за водой сходит. А потом — пропал. Через год.

Сказывали, у реки его видели в последний раз. С девкой какой-то. Сидел на камне, и она рядом — волосы длинные, светлые в темноте. Не звали на помощь. Не кричали. Просто исчезли. Как утренний туман.

С тех пор никто его не видал. А письмо его осталось. В сундуке.

Год 1592. Деревня Вальделю.

Письмо на тонкой, пожелтевшей бумаге. В одном углу — восковое пятно от свечи. Почерк женский, старательный, но с ошибками — баба грамоте сама выучилась.

«Марьюшка, здравствуй, сестрица!

Пишу тебе, как абещала. Всё у нас па-старому, да не совсем. Ты знаешь, деревня наша ни меняицца, а люди меняюцца. Стараста типерь новай, мужик суровый, слова лишнева ни скажет. При ём тиха стала, ни гуляют, ни пают. Да и никому, пажалуй.

Людей у нас паубавилась. Ни сильна, но чуствуицца. Кто в горат падался, кто помер. Маладёжи почти ни асталась — все на заработки ушли. Я вот адна типерь. Инда тоска берёт, инда ничево, привыкаю.

Церква наша совсем запустела. Отец Иоанн тожэ уехал куды-та. Говорят, в горат перабрался. Типерь службы рет-

ка бывают, приезжает кто-та из саседнева сила раз в месяц, а то и реже. Мы с бабами ходим, прибираем патихоньку, венки вешаем, лампадки зажегаем. Штоп ни совсем забыта была. Страста гаварит: «Богу малицца можно и дома». Может, и правда. А может, проста ни хочет, штоп народ к реке ходил.

Ты ни повериш, Марья, чо с мной вчера случилась. Русальная ниделя началась, и я пашла на реку — венок пустить, как мы в детстве с табой пускали. Помниш? Ты ешшо упала тагды, платье прамачила, мать ругалась. В общем, пашла я. Берег пустой, никово. Вада тёмная, глатkая, как зеркала. Я венок на ваду палажыла, он поплыл, а я стою, сматру.

И вдруг меня как будта кто-та зовёт. Ни голас, нет. Проста чуства. Стаю и хочицца в ваду зайти. Пряма тянет, Марья. Я ногой шагнула, а патом апамятовалась, атступила. Перикреснавась и пашла дамой. Шла быстра, ни аглядывалась.

Севодня весь день думаю. Может, паказалась? Может, ветер? А может, и правда чо-то есть в етай реке, аб чом старухи шэпчутся. Помниш, тётка Агафья, царствие ей нисбесное, рассказывала? Она многа чево рассказывала. Я тагды смеялась. А типерь вот не смешна. Говорят, давно эта была, ешшо при тётке Агафье, парень какей-та у реки прапал. С девкай, гаварят, свидание назначил, а девка та ненадёжная аказалась. С тех пор к реке баяцца стали.

Может, и враки всё. А может, и нет.

Ты, Марья, как там? Как тваи? Как муж, как детки? Пишы, ни забывай. Здесь совсем тиха стала. Инда даже страшна ат етай тишыны. А тут ешшо эта… зовёт будта. Может, я адна така, может, всем так кажицца. Ни знаю.

Приезжай, если сможеш. Саскучылас я по тебе.

Твая сестра Матрёна.»

Сорок лет спустя писала Матрёна. Митрошку она не знала, но историю его слышала. Как легенду. Парень, мол, у реки пропал. А она сама тот зов услышала. И устояла. Или… наоборот — она стала не нужна. Потому что она не такая, как те, кого зовут. Старая дева, некрасивая, с руками в мозолях, с молчаливым ртом. Кого там звать — таких, как она?

Вода на пороге появилась не в полночь, не во сне. А днём. Когда Матрёна вернулась с огорода. Просто лужа у двери. Чистая. Холодная. Будто кто-то плюнул и ушёл.

Она позвала мысленно: «Ну?»

Тишина.

С тех пор вода не возвращалась. Двадцать лет — ни капли.

Матрёна умерла, глядя в окно. Сказала перед смертью всего три слова: «Я не подошла». Или: «Она не позвала». Никто не разобрал.

Вода на пороге — знак.

Может, предупреждение: «Ты не та».

А может, приглашение, которое она не услышала.

Сорок лет ждала. А надо было просто шагнуть.

Год 1643. Деревня Вальделю.

Донесение на грубой, плотной бумаге. Буквы крупные, давящие. Кое-где чернила расплылись от влаги. Почерк полуграмотный, но старается быть официальным — видно, что староста выучился по нужде.

«Барину нашему, Василию Петровичу, от старосты Филиппа.

Ваше благородие, простите, што беспокою, да некаму боле. Народ из деревни уходит. Кто в горад падался, кто в саседнюю волость перабрался. Асталось нас — па пальцам перачесть. Малодых нет вовсе. Старики да бабы с малыми детьми. И всё ат аднаво — ат реки.

Люди боятца, Ваше благородие. К ваде не падходят, рыбу не ловют, скатину паить атказываюцца. Говорят, нечиста там. А мне што делать? Без вады не пражить. В калодце вада плохая, тяжолая, каровы не пьют. А из реки никто ни берёт. Прикажите, штоп кто из горада приехал, осматрел бы. Может, батюшку пришлите, штоб асветил место.

Доведь прапал Ефим, рыбак. Средних лет был, ни старой. Ушол к реке и ни вернулся. Жена ево, Арина, плачет, детей малых в избе заперла, не выпускает. А люди шэпчюцца. Говорят, Ефим тот неверным был, па чюжим бабам шастал. Жену обижал. Вот и дахадился. Господь, мол, наказал. Или не Господь.

Я к реке ходил, смотрел. На берегу удочка ево, сеть. А рядом на камне — гребень. Кастяной, старой, мхом поросший. Чюжой. Не Ефимов. Я ево не тронул. Не моё — и ладна. Пусть лежит.

Ваше благородие, пришлите кого. Совсем запустеет деревня. А што я скажу? Некому работать, некому платить оброк. Адна надежда на вас.

Староста Филипп»

Батюшку наконец прислали. Из самого города, с крестом и святой водой. Ходил вокруг омута, кропил, молитвы читал. Три дня ходил. А на четвёртый уехал. И ничего не сказал. Только бледный был и трясся. А когда мужики спросили, что там, в омуте, он рукой махнул и в повозку сел, погонять велел.

С тех пор к реке не ходят. Вообще не ходят. Даже днём. Даже в компании. Стоит себе вода чёрная, тихая, а кто подойдёт — назад не оглядываясь бежит. И не скажет почему. Боится. Или не знает. А может, знает, да молчит.

Год 1697. Деревня Вальделю.

Казённая бумага с гербом. Почерк аккуратный, канцелярский. Никаких помарок. Слова с большой буквы по старой привычке, но это уже петровский приказной стиль.

«В Приказ града Теплодар от старосты Панкрата доношение.

Вверенная мне деревня Вальделю находится в состоянии упадка по причинам, не имеющим под собой никаких оснований, окромя суеверий здешнего населения. Пустующих дворов — две трети. Оставшиеся же жители суть бабы с детьми да старики. Мужики разбежались, работать некому. А всё почему — реки боятся.

Люди шепчутся, при мне замолкают. Про девку некую, про глас. Чушь собачья. Сорок лет назад батюшка место освящал, крестным ходом обходил. С тех пор тамечка ничего быть не может. А что случается — несчастные случаи. Утонул кто — сам виноват. Не повезло. В реке нечисти нема и быть не может.

Сам я на днях хаживал на берег — место тихое, вода тёмная, ничего подозрительного. Девка одна сидела, волосья распущенные, вид бедный. Я с ней поболтал, думал, из здешних сирот. Дал серебряную монету — помочь хотел. А она отказалась, вскочила и убежала в кусты. Ну и ладно. Значит, не нуждается. Странно, конешно. Но нечисть серебра боицца, а тут сама отказалась — значит, не нечисть вовсе, а просто дикая, необразованная. Жалко, конешно, девку. Сирота, поди.

Жертвы, конешно, были. Ефим, рыбак, лет пятьдесят назад пропал. Потом ещё двое мужиков — тоже у воды. А больше никто и не ходит. Сами виноваты. Неча по ночам шастать.

Прошу прислать людей. Хотя бы семей пять. Шоб землю

пахали, скотину держали. А то деревня совсем заглохнет. А с рекой я сам разберусь. Неча баб пужать.

Староста Панкрат»

Через неделю Панкрата нашли у старого дерева. Сидел, прислонившись к стволу, глаза открытые, а сам мёртвый. Ни ран, ни следов, только улыбка странная и руки мокрые. Кто нашёл — тот перекрестился и убежал. А тело так и оставили. Хоронить боялись.

Людей, как просил Панкрат, прислали. Даже больше — пятнадцать семей из соседней губернии. Мужики здоровые, бабы работящие, дети. Слухи про реку до них не дошли — да и кто бы рассказывал? В деревне молчали, а приезжие не спрашивали. Пошли на реку с первого дня. Воду носили, бельё полоскали, рыбу ловили. Всё как люди.

На следующую ночь трое пропали. Ни криков, ни шума. Утром только пустые избы и мокрые следы от порога к реке.

Год 17??

Письмо на дешёвой серой бумаге. Почерк мелкий, нервный, с нажимом, некоторые слова зачёркнуты и переписаны заново. Грамотный, но душевнобольной — видно по слогу.

«Дедушка, родненький, здравствуй!

Ты у меня один, кто есть. Отец с матерью давно на меня рукой махнули, братья и сёстры не замечают. А ты всегда письма ждал. Вот и сейчас пишу, хоть и не знаю, дойдёт ли.

Говорят, почта здесь редко ходит. Да и кто письма в эту глушь понесёт?

Я, дедушка, уже пятый год здесь. Семья моя? Какая семья — так, чужие люди под одной крышей. Я для них лишний. Всегда был. А теперь особенно. Ты же знаешь, я не такой, как они. Тихий, задумчивый. В компании не пью, не гуляю. Вот и сторонятся.

Но есть одна, кто меня понимает.

Я встретил её через год после приезда. Пошёл к реке воды набрать — и увидел. Сидела на камне, волосы мокрые, длинные, а в них пряди — я таких цветов никогда не видывал. Неописуемых. Глаза переливаются, как вода на солнце. Она посмотрела на меня и сказала: «Не набирай здесь. Вода опустеет». Я не стал. С тех пор хожу к ней каждый день.

Она красивая, дедушка. Самая красивая, что я видел. И добрая. Со мной разговаривает, слушает меня. Никто меня никогда не слушал. А она слушает. И смотрит так, будто я для неё — весь свет.

Я знаю, что про неё говорят. Шепчутся, что нечистая, что мужики пропадали. Но я не верю. Разве может такая красота быть злом? Просто люди не понимают. Боятся того, чего не знают. А я знаю. Она меня любит. Я это чувствую.

Я сплю плохо, дедушка. Всё думаю о ней. И она мне снится. Стоит у окна, зовёт. Я просыпаюсь — на полу вода. Но я не боюсь. Это её следы. Она приходит ко мне.

Другие пропадали — значит, не умели любить. А я умею. Я с ней навсегда. Даже если придётся уйти в воду. Там, наверное, хорошо. Тихо. И она будет рядом.

Ты не волнуйся, дедушка. Я счастлив. В первый раз в жизни счастлив. А что будет потом — потом увидим.

Прости, что мало пишу. Рука не слушается. И перо плохое.

Твой внук Неждан»

На обороте*: «Прости, что неразборчиво. Пока писал — упало в воду. Руки тряслись. Или не тряслись? Не помню. Она смотрела. Прости».*

Неждана не поминали. Даже не искали. Семья его — чужие люди — облегчённо вздохнула, когда поняли, что никто спрашивать не будет. «Сам ушёл, сам и виноват», — сказал отец и перекрестился на икону. Мать помолчала и утёрла щёку. Не то чтобы плакала — скорее, от облегчения. Один дед, говорят, спрашивал, волновался. Да где ему, старому, до чужой деревни добраться?

Тело нашли через три дня. Не всё. Часть. Лежала в грязи у самого омута, водой намытая, рыбами поклёванная. Кто нашёл — тот и закопал. Где — неизвестно. И никто не спросил.

Год 175?. Деревня Вальделю.

Письмо на дорогой, тонкой бумаге, измятой и местами мокрой. Почерк каллиграфический, женский, с французски-

ми завитушками, но к концу буквы пляшут и расползаются. Язык — чувствительный, карамзинский, с галлицизмами.

«Дражайшие мои подруженьки, Марья да Фекла!

Ах, как вы не можете вообразить, сколь много вы потеряли, отказавшись сопутствовать нам в сие путешествие! Глухая деревенька, дремучие леса, а река — чёрная, тихая, словно из самого страшного немецкого романа. Тишина такая, какой я в жизнь мою не слыхивала: птицы безмолвствуют, ветра ни единого дуновения, только вода будто бы дышит.

Праздник наш удался на славу. Костры пылали, через огонь прыгали, венки по воде пускали. Местные крестьяне сперва дичились, но потом разверзлись, хороводы с нами водили. Парни пригожие, девки скромные. Я даже голос сорвала — пела до самого утра.

Но самое неописанное диво — я повстречала здесь одну девицу. Назвалась Купальницей. Красоты невыразимой: власы русые, с фиолетовым отливом, длиннее колен. Очи — цвета болотной воды, переливаются на свету подобно драгоценным каменьям. В хороводах с нами кружилась, но безмолвствовала. Ни слова не проронила. Мы уж и так и этак — не говорит, только улыбается. Но взгляд у неё тёплый, словно родная душа.

Я с ней на берегу сидела. Она гребень из рукава достала — костяной, древний, с резьбой. Власы расчёсывала, а я смотрела, затаив дыхание. Потом дала мне гребень, и я ей косу

заплела. Волосы у неё студёные, аж руки заледенели. Но я не ропщу. Мне с ней так хорошо, девчонки, так спокойно, словно у ног матери.

Сейчас наши пошли гадать на суженых, а я у воды осталась, у меня ж Петька есть, интересно, как он? Пишу вам, краем глаза на кусты поглядывая. Она там. Сидит, на меня взирает. Я помахала — улыбнулась. А теперь она поднялась и идёт ко…»

Амалию искали долго. Нашли на дереве, на старой иве у самой воды. Лежала на ветке, будто спала. Глаза закрыты, на губах лёгкая улыбка, руки мокрые. Как забралась — никто не понял. Подружки её сняли, в повозку уложили и уехали. Сразу. Даже не простились.

В городе потом говорили: «Молодые были, глупые, не усмотрели за подругой».

Письмо это, так и не дошло до получателя.

Деревня затаилась. К реке боялись ходить. Даже днём. Даже за водой.

~ 1780 год. Тракт близ деревни Вальделю.

Письмо на плотной, дорожной бумаге. Сложено вчетверо, края засалены. Почерк мужской, уверенный, но к концу становится мельче, словно пишущий боялся, что его услышат. Без подписи.

«Не ведаю, дойдёт ли сие письмо. Не ведаю и зачем я его вообще пишу. Может, дабы не лишиться рассудка. Может,

дабы кто-то знал, коли со мной что приключится. Хотя со мной уже приключилось. Десять лет назад. А я только ныне сыскал слова.

Как звали меня? Неважно сие. Имя моё не для этой бумаги.

В году 1780-м ехал я к сестрице в Вологодскую губернию. Дорога шла лесом, заночевал я в деревне, коей на картах не обрёл. Местные звали её Валькой. Там было тихо. Слишком тихо. И была река. Чёрная. Гладкая. И она.

Я не глупец, я слышал истории. Про девку у воды, про глас, про тех, кто не воротился. Но я из тех, кто не верует, покуда не узрит очами своими. А когда узрел — не поверил всё равно. Слишком красивая была. Слишком… правильная. Будто её нарисовали.

Она сидела на камне, власы расчёсывала. Я подошёл. Она не устрашилась. Воззрела на меня, улыбнулась и молвила: «Давно я не зрела такого взгляда». Я вопросил: «Какого?». Она ответствовала: «Того, кто не страшится. Кто желает не взять, но уразуметь».

Я был моложе. Глупее. И весьма желал доказать самому себе, что я не таков, как все. Что я умнее, хитрее, что меня не проведут.

Я начал с нею играть.

Я говорил ей то, что она желала слышать. Взирал так, как она желала видеть. Я был ласков, внимателен, осторожен. Я хаживал к реке всякий день. Я приносил ей цветы. Я

слушал её рассказы — о воде, о тишине, о детях, коих она берегла. Она глаголила странно. Не так, как люди. Слова у неё были как вода — текучие, гладкие, но, если в них вглядеться, виделось дно. Глубокое. Тёмное.

Она не сразу уразумела. Два дня она играла со мной по-настоящему. Водила по воде босиком, давала касаться своих волос, показывала цветы, что растут у неё в прядях. Она смеялась. По-детски. Беззащитно.

А на третий день я уехал.

Собрал пожитки, запряг лошадь и ушёл до рассвета. Не простился. Не оглянулся. Я обманул её. Я обольстил водяную девку, поиграл с нею и уехал, ибо устрашился. Не её. Себя. Я уразумел, что ещё день — и я не смогу уйти. Что останусь там. Навсегда. И сие было страшнее любой нечисти.

Десять лет минуло. Я обитаю в городе. У меня дом, семья, дело. Но всякую ночь я слышу воду. Всякую ночь мне снится чёрная река и она. Она стоит на камне и взирает мне в спину. Я уехал, а она осталась. Но не ведаю, кто из нас остался там на самом деле.

Я мыслил, она проклянёт меня. Или забудет. Но она не забывает тех, с кем глаголила. Я сие ведаю. Я сие чувствую.

Прости меня. Не ведаю, кого прошу. Может, её. Может, себя. Может, Бога. Но если слова сии когда-нибудь прочитает некто, кто пойдёт к той реке: не играйте с тем, что древнее вас. Не будьте мной. Она не злая. Она просто веру-

ет. А когда обманывают того, кто верует — сие не проходит. Никогда.

Я желал бы возвратиться. Извиниться. Но боюсь. Боюсь, что, если узрю её снова — не уйду во второй раз.»

Подписи нет. Вместо неё — пятно, похожее на высохшую слезу или каплю воды.

Тот барин, что играл с русалкой да уехал на рассвете, прожил долгую жизнь. В городе. С женой и детьми. Никто не знал, почему он встаёт по ночам и смотрит в окно на восток. Почему в его кабинете всегда пахло водой — даже зимой, когда все реки замерзали. Он не рассказывал. Только один раз, уже старый, внуку сказал: «Не играй с тем, что старше тебя. Даже если кажется, что ты умнее». Внук не понял. А барин перекрестился и велел подать чаю.

Через год его не стало. Перед смертью он улыбался и шептал что-то про чёрную воду. Врачи сказали — горячка. Кто знал правду — молчали.

А в деревне Вальделю снова затихло. Река стояла. Рыбу не ловили. Дети к воде не ходили. Даже собак не пускали — собаки выли по ночам и рвались с цепи к омуту. Потом перестали. Умерли одна за другой. Или ушли. Кто ж разберёт.

Годы шли. Люди менялись, а омут нет.

И вот, много лет спустя, приехал в те места художник. Молодой, горячий, из самой столицы. Слышал он истории про таинственную деревню и загорелся — написать нечистую си-

лу с натуры. «Бесёныши, — говорил он, — самое благодатное для кисти». Смеялся. А местные молчали. Только старуха одна, у которой он остановился, долго на него смотрела, а потом сказала: «Ты, барин, имён ей не давай. Если назовёшь — привяжешься. Или она к тебе. Это хуже».

Художник отмахнулся. «Суеверия, — сказал. — Я человек просвещённый».

Как звали того художника? Дмитрием. А по батюшке — неважно. Всё равно никто не запомнил.

Год 1804.

Письмо на плотной, дорогой бумаге для рисования. Почерк летящий, с завитушками, кое-где краска (не чернила) — синяя, в цвет волос русалки. Художник.

«Любезный братец Алёшенька!

Пишу тебе из глуши, где зазимовал по собственной дурости. Полагал, месяц-другой, а вышло — вся осень и половина зимы. И не жалею. Ты не поверишь, что я здесь обрёл.

Я обрёл русалку.

Местные величают её различно: кто лоскотухой, кто шутовкой, а кто и вовсе безмолвствует, крестится. Я же именую её Маврой. Так мне подсказало сердце. Или она сама.

Зимой она не такова, что летом. Летом, сказывают, она русая, с фиолетовыми прядями, зелёная в водорослях. А ныне — вся голубая и синяя. Кожа бледная, аки лёд, власы долгие, застывшие, будто их инеем прихватило. Очи — два ому-

та, без дна. Она сидит у полыньи, взирает на меня. Я прихожу всякий день.

Знаешь ли, что творят при встрече с русалкой? Бросают ей платок или что из одежды. Дабы откупиться, дабы не тронула. Я вчера бросил ей свой шейный платок. Она уловила на лету, прижала к лицу, вдохнула. И засмеялась. Не страшно, нет. Сладостно. Как колокольчик под водой.

А потом бросила обратно. Платок был мокрый и студёный, как она сама. Я его не взял. Оставил на снегу. Заутра его не было. Следы вели в воду.

Я пишу её портрет. Но краски не слушаются. Всё нечто не так. То студенее, то теплее. Я не могу передать сей взгляд. Он меня зовёт, брат. Я прихожу к реке всякий день, стою на ветру, взираю. И она там. Всегда.

Местные шепчутся, крестятся. Старуха, у коей я обитаю, вчера зашла в горницу, узрела этюды и побледнела. Молвила: «Сожги, Христа ради. Ты ведаешь, кто она». Я ведаю. Я нарек её по имени. Мавра.

Ночью я пробудился оттого, что некто ходит по избе. Тихо. Босиком. Я вышел в сени — нет никого. А на полу — вода. Среди зимы, брат. Вода.

Приезжай. Мне страшно. Но не за себя. За картины. И за то, что я сотворил. Я назвал её. А значит — привязал себя к ней. Или её ко мне. Не ведаю.

Твой Дмитрий.»

Дмитрия не дождались. Алексей приехал через неделю — нашёл избу пустой, печь остывшей, а на столе — тринадцать картин. Все они были о воде. Вода чёрная, вода синяя, вода подо льдом. И ни единого лица. Только очи. Много очей. Взирали со всех холстов, с каждого мазка. Алексей забрал картины, хотел сжечь — рука не поднялась. Увёз в город, спрятал в кладовой. Говорят, после того он спал плохо. Всё видел во сне реку.

А Дмитрия нашли весной, когда лёд сошёл. Лежал на том самом камне, где она сидела. Очи открыты, улыбается, а в руке — платок. Тот самый, что он ей бросил. Мокрый, в тине. Как он туда попал — никто не понял.

Год не указан.

Вырванная страница из дневника. Бумага мятая, края рваные. Почерк детский, корявый, буквы прыгают, слова написаны как слышатся. На полях — нарисован цветок с пятью лепестками.

«…севодня я апять хадила к Пале. Мама не знаит. Если узнаит то наругаит. Пала ждала меня у старай ивы. Она всегда там сидит. На камне. Я прибежала а она уже там. Улыбаицца.

Пала красивая. Валасы длинные мокрые а в них цвиты. Я спросила где она их берет а она сказала што они сами растут у неё в валасах. Я не поверила но она дала мне один. Синенький халодный пахнет рикой. Я спрятала ево в кар-

ман. Мама нашла выбросила сказала не бери гадасть. А мне жалка.

Мы севодня играли в дочки-матери. Я ей касичку заплетала. Валасы халодные как лёт. И мокрые. Маи руки замёрзли но я тирпела. Пала смеялась. У неё смех тихий как вада журчит.

Пала не ходит па земле. Она ходит па ваде или па траве а следы за ней мокрые. Я один раз прошла за ней — у меня туфельки прамокли. Мама ругалась а я не сказала пачему.

Ана гаварит што я её самая любимая. Што другие дети боятца а я нет. Я сказала што я не баюсь. Она пагладила меня па щеке. Рука халодная как из калодца.

Завтра апять пойду. Абещала ей ленту принести. Синюю. У меня есть…»

Машу искали три дня. Оббежали лес, реку, старую иву. Нашли у омута. Сидела на камне, босиком, волосы распущены. В руках — синяя лента. Та самая, что обещала принести. Глаза открыты, на губах улыбка. Живая. Но какая-то не своя.

Мать спросила: «Ты где была, доченька?». Маша посмотрела на неё и сказала: «У Палы. Она теперь моя сестра. И я теперь её». И замолчала. Больше за три дня не сказала ни слова.

Врач приезжал из города. Посмотрел, покачал головой. Сказал: «Нервное». А сам перекрестился. Бабки шептались, что не лечится это. Что душу у девочки забрали.

Машу увезли в город. В больницу. Говорят, она там до старости прожила. Всё молчала. Только смотрела в окно. На восток. Где река.

Год 1913. Деревня Вальделю.

Письмо на дешёвой тетрадной бумаге. Почерк женский, нервный, дрожащий, с нажимом. Последние строки почти нечитаемы — чернила расплылись, бумага в кляксах. Полуграмотная крестьянка, но не без чувства.

«Милый мой Иван!

Пишу тебе, а сама не знаю, дойдёть ли. Говорят, почта ещё ходить, но кому она нужна? Деревня пустая. Почти пустая. Астались мы, да бабка Ульяна на отшыбе. Да река. Река всегда здесь.

Ты не приехал. Я ждала, но ты не приехал. Может, и правильно. Не надо тебе это видеть.

Наша Глаша… я не знаю, што с ней. Ты помнишь, какой она была? Весёлай, звонкай, бегала па лужам, смеялась. А теперь она не смеёцца. Вернее, смеёцца, но не так. Не падетски. И смотрит не на меня. Сквозь меня. В угол. Или в акно. А за акном — река.

Ана гаварит, што ходила к падружке. К Пале. Я запрещала, она не слушаит. Уходит ночью. Я прасыпаюсь — кравать пустая, прастыни халодные. А на полу ат кравати да двери — мокрые следы. Босые. Маленькие. Я запирала дверь — она всё равно выхадит. Я замок сменила — утром дверь

открыта, а ключ в замке с другой стороны.

Ана приносит цветы. Синие, халодные, пахнут тиной. Я их выбрасываю, она плачет. Не кричит — молча плачет. Слёзы текут, а лицо спокойнае. Страшна мне, Иван.

А вчера я нашла гребень. Кастяной, старой, резной. Лежал на падушке у Глашы. Я спросила, аткуда. Она улыбнулась и сказала: «Пала падарила. Типерь я буду, как она, валасы расчёсывать». Я хатела выбросить — она выхватила и убежала. С тех пор не расстаёцца. Спит с им. Ест с им. Сидит на крыльце, валасы расчёсываит. Долга. Часами. И улыбаицца.

Я сама не своя стала, Иван. Мне кажется, я её вижу. Палу эту. Краем глаза. В кустах у реки. В акне ночью. Я выхажу на крыльцо — тиха. Только вада плещет. И смех детский. Будта играют. Будта не адна Глаша, а две.

Бабка Ульяна гаварит, што Глаша уж не наша. Што душу её падменяли. Што та, кто живёт с нами — не дочка. А другая. Я плюнула и ушла. А ночью проснулась ат таво, што Глаша стоит у маей кравати. Смотрит. Глаза балотные, переливаюцца. Я закричала, а она засмеялась. И ушла. На цыпачках. Босикам. А следы астались.

Иван, приезжай! Забери нас. Или не надо. Не забирай. Не надо тебе это видеть. Я сама… я…»

Дальше строки неразборчивы. Бумага в кляксах, чернила расплылись — то ли от слёз, то ли от воды. Последние слова угадываются с трудом:

«…она в дверь стучит. Глаша. Или не Глаша. Открой, мама. Мы к табе пришли. Мы…»

Никто не приехал. Иван, говорят, собирался, да занемог. А может, испугался. Кто теперь разберёт.

Деревня опустела окончательно. Дома стояли с чёрными окнами, крыши оседали, двери скрипели на ветру.

Глашу не нашли. И мать её — тоже. Бабка Ульяна померла через неделю. Успела только шепнуть: «Не трогайте омут. Их теперь двое».

Деревню вычеркнули из всех бумаг. Сначала забыли, потом перестали существовать. Карты переделывали, дороги сворачивали. Место заросло лесом. Омут затянуло тиной.

А потом, много лет спустя, нашёлся сундук.

Без даты. Без подписи.

Это письмо не похоже на другие. Бумага — старая, тяжёлая, незнакомого состава. Края обрезаны неровно, будто лист вырвали из чего-то. Почерк странный: буквы то слишком правильные, то расплываются, как круги на воде. Чернила не чёрные — синие, с зеленоватым отливом. Пахнет рекой. Ритм — как заклинание.

«Я здесь давно.
Доле, нежели помнят люди.
Доле, нежели стоят сии дерева.
Доле, нежели течёт сия вода.

Нет у меня имени, которое вы могли бы вымолвить.

Но когда я выхожу на берег, люди нарекают меня по-своему.

Кто — Палой.

Кто — Маврой.

Кто — Купальницей.

Сие не мои имена. Сие отражения. Как луна в воде.

Не помню я, когда стала той, кто я есть.

Я была водой. Я была рекой. Я была тишиною между берегами.

А потом пришли люди.

И я научилась их слышать.

Они приходят ко мне разными.

Кто — за водою.

Кто — за любовью.

Кто — за смертью.

Кто — просто заблудился в лесу.

Я вижу их всех.

Вижу, кто ненавидел жену.

Вижу, кто обижал детей.

Вижу, кто лгал, крал, предавал.

Вижу, кто был добр, кто был чист, кто не умел лгать и оттого был одинок.

Каждый получает, что принёс.

Те, кто обижал слабых — уходят в воду и не возвращаются.

Те, кто был чист — могут остаться. Если восхотят.

Детей забираю дабы защитить. Дабы перевоспитать. Дабы сотворить из них тех, кто потом будет врачевать, утешать, помнить. Они живут со мной. Долго. До самой старости. А потом уходят в мир и становятся знахарками. Я отпускаю их. Всегда отпускаю.

Но есть и те, кто приходит играть.

Кто мнит, что я — игрушка.

Кто взирает на меня и зрит забаву.

Кто смеётся, а потом уезжает на рассвете, даже не простившись.

Таковых я не держу.

Но они приходят ко мне во сне. Каждую ночь. До самой смерти.

И я взираю на них из чёрной воды.

Не злая я. Я просто помню.

Помню каждого, кто глаголил со мной.

Не ведаю, кто собрал сии письмена.

Не просила я их собирать.

Может, сие сотворила одна из тех, кого я воспитала. Может, кто-то из тех, кто ушёл и возвратился.

Но знаю едино: если сии бумаги исчезнут, если никто не прочитает сих строк, если люди перестанут шептать моё имя у воды — я не умру. Но стану просто водой. Тёмной, тихой, студёной. И никто не услышит, как я пою.

Я не зову.

Я жду.»

Никто не знал, сколько лет тому письму. Бумага не горела, не гнила, не старела. Сундук, говорят, кто открывал — выходил оттуда сам не свой. Синие цветы на дне не вяли. Вода на крышке не высыхала.

Те письма, что нашлись — их потом перепрятали. А может, и не прятали. Может, они сами находили того, кому нужно. Так старухи шептались.

А деревня Вальделю тем временем совсем исчезла. Сначала вычеркнули с карт. Потом забыли название. Потом и место заросло — лесом, мхом, тиной. Дороги, что вели туда, свернули в сторону. Кто случайно забредал — тот не возвращался. А если возвращался — молчал. Или крестился, или плевал через плечо. И ничего не объяснял.

Годы шли. Река стала болотом. Омут затянуло ряской. Но вода оставалась чёрной. И тихой. Всегда.

Потом пришли новые времена. Люди меняли фамилии, города, судьбы. Кому было дело до старой легенды?

А легенда жила. В шепоте. В детских страхах. В том, как матери наказывали: «Не ходи к западной околице, там топь». И дети не ходили. И внукам заказывали.

И вот, в уже совсем другие годы, в месте, что в двадцати верстах от того места, старуха одна собралась умирать. Матрёной звали. Никто не знал, сколько ей лет. Говорили, за сотню перевалило. Всё молчала — смотрела в окно на за-

пад. А перед смертью вдруг попросила бумагу и перо. Сын удивился — мать грамоте не обучена была. А она села и написала. Без ошибок. Чисто. Как будто всю жизнь только и делала, что письма строчила.

Сын потом рассказывал: в ту ночь он проснулся от холода. Вышел в сени — мать стоит у открытого окна, босиком, на полу вода. А за окном тишина. Даже ветра нет. Только будто кто-то дышит в темноте. Большой. Древний.

Год 1939. Село Теплоречье, в двадцати верстах от бывшей деревни Вальделю.

Письмо на плотной, пожелтевшей бумаге. Почерк старушечий, но уверенный. Буквы округлые, без нажима. На полях — сухой синий цветок, вложенный между страниц. Грамотная, но по-деревенски.

«Сынок мой, Стёпушка!

Пишу тебе, как обещала. Ты просил рассказать про мою молодость, а я всё откладывала. Думала, успе́тся. А теперь чую — пора. Не потому, что помирать собралась, нет. А потому, что ты должен знать. На всякий случай.

Ты знаешь, я в деревне Вальделю выросла. Только меня там Машей звали. Да, той самой Машей, про которую бабки шептались. Той, что у реки пропадала и потом молчала сорок лет.

Не перебивай, сынок. Я и так долго молчала.

Пала — она не злая. Запомни это. Врачи говорили — нервное, душу забрали. А никто не спросил меня, что я там видела. Никто не спросил, хотела ли я возвращаться.

Я её нашла, когда мне было семь лет. Или она меня нашла. Сидела на камне, волосы расчёсывала. Я не испугалась. Другие дети боялись, а я нет. Она была красивая. Не как люди. Слишком правильная. Как на картинке, только живая. И глаза — в них можно было смотреть вечно. Как в омут. Только в омуте темно, а у неё там свет. Странный. Не наш.

Она меня научила многому. Травам. Воде. Тишине. Она говорила, что я особенная. Что не боюсь — значит, могу видеть. Что другие приходят к реке, чтобы взять. А я пришла, чтобы быть.

Я была у неё под водой. Не бойся, я не тонула. Там не тонут, если она не хочет. Там — другой мир. Тихо. Светло. И вода не мокрая, если привыкнуть. Она водила меня по дну, показывала коряги, которые были домами. Рыбы подплывали, трогали мои волосы. А в самом глубоком месте, где солнце не достаёт, там спят те, кого она забрала. Не все. Только тех, кто был зол. Они спят и видят сны. Хорошие сны. Она мне так сказала. Я поверила.

Она хотела, чтобы я осталась. Навсегда. Сказала: «Ты будешь моей сестрой. Мы будем вместе. Я научу тебя всему». И я согласилась.

Но она меня отпустила.

Потому что мать плакала. Потому что я была маленькая. Она сказала: «Иди. Ты вернёшься, когда вырастешь». Я не вернулась. Не потому, что не хотела. Потому что меня увезли. В город. В больницу. А потом я выросла, вышла замуж, родила тебя. И река осталась там. В Вальделю.

Я сорок лет молчала, сынок. Не потому, что душу забрали. А потому, что нельзя было рассказывать. Люди не поймут. Они испугаются. Или не поверят. Или пойдут к реке, чтобы посмотреть, чтобы доказать, чтобы победить. А она не про победу. Она про память.

Иногда по ночам я слышу воду. Даже здесь, за двадцать вёрст от того места. Слышу, как она плещет, как она поёт. И я знаю — она меня помнит. И ждёт. Не зовёт. Ждёт.

Ты, сынок, к той реке не ходи. Даже если будешь рядом. Даже если покажется, что надо. Не ходи. Потому что она тебя увидит. И я не знаю, что она в тебе разглядит. Я была чистая. А ты — ты мой, но у тебя свои слёзы, свои грехи. Не ходи.

А если когда-нибудь найдёшь сундук с письмами — не трогай. Или трогай, но помни: это не история. Это память. Её нельзя изучать. Её можно только хранить.

Прости, что не рассказывала раньше. Боялась. И сейчас боюсь. Но ты должен знать, откуда я умею лечить травами. Оттуда. От воды. От неё.

Твоя мать Матрёна.»

На обороте приписка, сделанная другой рукой, более молодой:

«Матушка умерла через три дня после этого письма. В ночь перед смертью она встала, открыла окно и долго стояла, глядя на запад. Я спросил, не замёрзнет ли. Она улыбнулась и сказала: „Она зовёт. Теперь можно“. Утром её не стало. Лицо спокойное, руки мокрые. Я никому не сказал. Хранил это письмо сорок лет. Теперь передаю дальше. Степан».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.